

свободная нужна была душа — и на лагерном дне именно такая и была у меня, какой не может владеть придурок, каждый день ожидающий подкопа, интриги, свержения. Именно на лагерном дне я обрёл себе самую большую свободу».

И еще:

«...Душевное состояние у меня глубоко спокойное. Физические лишения всё меньше и меньше значат... Течение срока не вызывает во мне нарастающей радости, а только всё большее приятие в качестве жизненного правила мудрой русской пословицы: „Счастью не верь, беды не пугайся”. Никогда человек сам не знает, что ему действительно лучше и что хуже».

А вот поздняя запись:

«Когда к старости надо мной, как, вероятно, и над каждым человеком, сгрудились, стучались все грехи прожитой жизни и я в изнемогающих молитвах вспоминаю их и вспоминаю, я однажды с удивлением обнаружил такую особенность: они относятся ко всем временам моей жизни, кроме лагерных лет. На этом дне существования, лишенные всякой внешней свободы, мы обретаем возможность безгрешности».

Надеюсь — но и не сомневаюсь — что в дни конференции голоса и мысли великих сидельцев оживут в докладах коллег и пропустят сквозь уникальные архивные документы, извлеченные из хранилищ несравненной российской Сокровищницы, именуемой Пушкинский Дом.

DOI: 10.31860/0131-6095-2018-4-16-19

© В. Е. БАГНО

«ТАК ОБРАЗОВАЛСЯ СЕРВАНТЕС В РАБСТВЕ» (ПИСАТЕЛЬ И ПЕРСОНАЖ В НЕВОЛЕ)

Характеризуя четыре сферы мировой литературы (когда верхние изображают верхних же; когда верхние изображают, описывая нижних, «младшего брата»; когда нижние изображают верхних; и наконец, когда нижние изображают нижних, себя), Солженицын предположил, что «морально самой плодотворной» является вторая сфера. «Она, — добавляет он, — создавалась людьми, чья доброта, порывы к истине, чувство справедливости оказывались сильней их дремлющего благополучия и одновременно чьё искусство было зрело и высоко».¹ При этом родовым пороком этой сферы он считал «неспособность понять доподлинно». В редчайших случаях, напоминает Солженицын, писатели, оказываясь, подобно Сервантесу и Достоевскому, ввергнуты «внешним насилием» (плен, каторга, тюрьма) в тот страшный мир, в котором обитали «нижние», перевоплотившиеся, смогли этот опыт усвоить и сохранить. «Так, — продолжает Солженицын, — образовался Сервантес в рабстве и Достоевский на каторге. В Архипелаге же ГУЛАГе этот опыт был произведен над миллионами голов и сердец сразу». Тем самым писатель уверенно определяет и свое место не только именно в этой, второй

¹ Солженицын А. И. Архипелаг ГУЛАГ. Части III—IV // Солженицын А. И. Собр. соч.: В 30 т. М., 2010. Т. 5. С. 392—393.

сфере, но и среди тех, кто смог «понять доподлинно», благодаря тому, что в их жизни было «внешнее насилие».²

Ранее подобный масштабный «опыт» был произведен над миллионами голов и сердец сразу в Испании в тот период ее истории, когда она, как позднее советская Россия, была мировой державой. Этот опыт нашел отражение в «Дон Кихоте», однако Солженицын вряд ли учитывал это обстоятельство, так что ставить вопрос о творческом усвоении в «Архипелаге ГУЛАГ» опыта испанского писателя надо с большой осторожностью.

В «Дон Кихоте» мы находим попытку задолго до Солженицына придать художественное измерение рассказам заключенных об их «преступлениях и наказаниях», а именно в XXII главе 1-й книги романа, где речь идет о том, «как Дон Кихот освободил многих несчастных, которых насильно вели туда, куда они не имели ни малейшего желания идти».³

Затем, как мы хорошо помним, Дон Кихот («верхний» и представитель «верхнего», Сервантеса), «опрашивает» «нижних», и те, во многом лукавя, рассказывают истории своих преступлений и наказаний за них.

С другой стороны, перед нами пример описания художником одного из первых опытов использования в Новое время в Европе рабского труда заключенных для решения масштабных государственных задач, в данном случае развития гребного флота Испанской империи.

Осуществленная сталинским режимом и описанная Солженицыным в 4-й главе («Ссылка народов») 6-й части «Архипелага» высылка целых народов (корейцев, немцев, крымских татар, чеченцев) во всяком случае в истории Европы не была первой. Первым был опыт изгнания из Испании в 1498 году сотен тысяч евреев, оказавшихся принять христианство.

Сервантес и его современники были свидетелями второго, столь же масштабного изгнания в 1609, 1610 и 1613 годах из Испании сотен тысяч морисков — перешедших в католичество мусульман.

В «Архипелаге ГУЛАГ» приводится множество примеров того, как сталинский режим вынуждал людей, побывавших в плenу, доказывать свою невиновность и незапятнанность. Если этот метод и не был впервые использован испанской инквизицией, то благодаря Сервантесу мы хорошо знаем именно о нем по его «делу». Как ни парадоксально, из очень ограниченного числа подлинных документов, по которым мы хотя бы что-то знаем о биографии писателя, самый подробный и впечатляющий — это «Донесение», составленное самим Сервантесом и состоящее из двенадцати свидетельских показаний, подтверждающих его благородство, стойкость, верность христианской вере и рассказывающих о его дерзких попытках к бегству.

Всем нам памятна глава «Убежденный беглец» «Архипелага ГУЛАГ».

При этом мало кто помнит, что архетипом «убежденного беглеца», не приемлющего несвободу, для мировой культуры послужил некий испанец, историю которого поведал всем во вставной новелле 1-й книги «Дон Кихота» капитан, вернувшийся из алжирского плена.

Позволю себе еще раз остановиться на теме свободы и несвободы в связи с Сервантесом (писатель) и Дон Кихотом (персонаж).

Стоит напомнить одно из самых знаменитых изречений Дон Кихота: «Свобода, Санчо, есть одна из самых драгоценных щедрот, которые небо изливает на людей; с нею не могут сравниться никакие сокровища: ни те, что таятся в недрах земли, ни те, что скрыты на дне морском. Ради свободы, так же точно, как и ради чести, можно и должно рисковать жизнью, и, на-

² Там же. С. 393.

³ Сервантес Сааведра М. де. Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский // Сервантес Сааведра М. де. Собр. соч.: В 5 т. М., 1961. Т. 1. С. 230.

против того, неволя есть величайшее из всех несчастий, какие только могут случиться с человеком».⁴

Биография Сервантеса хорошо изучена. Впрочем, если воспользоваться замечательным термином, предложенным Мигелем де Унамуно: «интраистория»,⁵ мы вправе считать, что у каждого из нас есть «биография» и «интрабиография», т. е. внутренняя биография, она и является истинной. Пожалуй, интрабиографию писателей мы могли бы иногда попытаться реконструировать, опираясь на биографии их персонажей. Мы никогда не узнаем события этой внутренней жизни Сервантеса, внешними составляющими которой была многоликая, не отпускаяшая писателя до конца его дней неволя: унизительная необходимость по возвращении на родину доказывать свою лояльность по отношению к Римско-католической церкви, равнодущие властей к его просьбе о службе в Америке, этом «пристанище и убежище для людей, потерявших последние надежды в Испании»,⁶ подозрения, связанные с его деятельностью на посту сборщика налоговых недоимок. И все же главное — не забудем унизительную на протяжении всей жизни зависимость от благорасположения сильных мира сего.

В то же время у этого «верхнего», по терминологии Солженицына, писателя был богатейший, разнообразный и впечатляющий опыт внешней несвободы: он пять с половиной лет провел в алжирском плена, четырежды пытался бежать, по возвращении подвергся допросам, затем как минимум два раза сидел в тюрьме по обвинению в растрате казенных денег. По легенде именно в тюрьме и зародился замысел «Дон Кихота».

Долгие годы жизни в Алжире подсказали будущему писателю то, что я предлагаю считать «Сервантесовским кодом Средиземноморья». Этот код двусоставен. С одной стороны, биография писателя с максимальной точностью и полнотой отражает противостояние христианства и ислама в этой части мира. С другой, творчество гениального сына Испании, особенно пьесы, с максимальной глубиной прогнозирует единственно возможные диалог, синтез и решение в ситуации противостояния.

При этом самое радикальное решение мы обнаруживаем в пьесе «Великая султанша». Представитель одной из враждующих религий, полюбив представителя другой, принимает его как равного, благодаря этому понимает его правоту как равную своей и начинает по-новому видеть мир и проявлять себя в нем. Речь идет о султане Османской империи и пленной испанке, на которой он женится, позволяя остаться христианкой! Великий утопический прогноз о возможности примирения христианства и ислама в любви, предложенный Сервантесом в «Великой султанше», особенно знаменателен, потому что эта возможность видится на путях терпимости и смягчения нравов и не предполагает полного преодоления противоречий.⁷

Что же касается «Дон Кихота», то неволя Алонсо Кихано Доброго заключалась, на мой взгляд, главным образом в том, что, сопреживая униженным и оскорблённым в большом мире, он хотел вырваться из благополучного мира отчего дома, и в этом состояли все три его состоявшихся, но крахом завершившихся ухода из дома. Избитым и беспомощным, заколдо-

⁴ Там же. Т. 2. С. 466.

⁵ Особого внимания в этом отношении заслуживает роман «Мир среди войны» (*Paz en la Guerra*), над которым испанский писатель работал в 1890-е годы и в котором очевидно творческое усвоение идей Толстого.

⁶ Сервантес Сааведра М. де. Назидательные новеллы. М., 1954. С. 261.

⁷ Подробнее об этом см.: Багно В. Е. Сервантесовский код Средиземноморья. Донкихотовский код России // Испания и Россия: Исторические судьбы и современная эпоха. М., 2017. С. 358—359.

ванным и, наконец, побежденным и давшим слово забыть о своем призвании, его все три раза привозили домой.

Сервантес с максимальной убедительностью показывает нам, что, будучи сумасшедшим, Дон Кихот — человек внутренне абсолютно свободный. Поэтому его мало взволновала невозможность войти в его любимую библиотеку, которую, по словам его домочадцев, унес волшебник Фрестон.

Одержаный идеей, Дон Кихот пытается преобразовывать свободу внутреннюю в свободу внешнюю. Именно здесь возникают проблемы, которые, однако, не являются препятствиями непреодолимыми. Сервантес показывает, что самая невыносимая свобода — когда тело свободно, а воля порабощена.

Хрестоматийным примером неволи внешней является сцена издевательств над нашим героем служанки постоянного двора, привязавшей в шутку его руку недоуздком к решетчатому окну.

Непреодолимой оказывается потеря внутренней свободы — данное им слово, после поражения, нанесенного Рыцарем Белой Луны, отказаться, пусть даже всего лишь на год, от осуществления своей миссии и вернуться домой. Именно потеря внутренней свободы, а не побои и не поражения, приводят героя к смерти.

Нелишне напомнить, что именно «домашняя ссылка» в Михайловское, в отчий дом, оказалась особенно мучительной для Пушкина. 27 мая 1826 года он писал Вяземскому: «Ты, который не на привязи, как можешь ты оставаться в России? если царь даст мне *свободу*, то я месяца не останусь».⁸

Описанная Сервантесом кончина Дон Кихота всегда озадачивала поклонников таланта испанского писателя. Смерть наступает именно в то время, когда после всех мытарств и злоключений герой оказывается дома и, если верить словам самого Дон Кихота, выздоравливает. Однако почему же тогда следствием выздоровления должна быть немедленная смерть? Скорее, можно предложить, что словам персонажа верить не стоит.

Дон Кихот умирает в полном соответствии с тем диагнозом, который поставил врач: «Лекарь высказался в том смысле, что Дон Кихота губят тоска и уныние».⁹ Убивало данное слово вернуться в отчий дом и отказаться от своей миссии блуждать по свету, помогая униженным и оскорбленным. Позволю себе предположить, что легенда о выздоровлении, которую Сервантес вложил в уста персонажа, должна была успокоить любящих его людей, страдавших от его донкихотовских сумасбродств, помочь им смириться с его смертью.

Как и во всем романе, Сервантес в finale с читателем лукавит. Его герой не выздоравливает. Он остается влюбленным в свободу сумасшедшими. Но он не перестает быть Алонсо Кихано Добрый, которого односельчане звали так за его «кротость нрава и приятность в обхождении»,¹⁰ поэтому в утешение им он и придумал легенду о своем выздоровлении. Дон Кихот умирает от несвободы, более того, умирает не тогда, когда в неволе оказывалось тело, когда он сидел в клетке, а когда в неволе оказалась воля.

На мой взгляд, есть все основания считать сервантесовский роман притчей о свободе и несвободе.

Возвращаясь к рассуждению Солженицына о второй сфере мировой литературы, напомним, что, кроме Сервантеса, писатель упомянул также Достоевского, который «образовался» на каторге. И именно Достоевский написал о любимом им романе: «Что отчаяннее Дон-Кихота».¹¹

⁸ Пушкин А. С. Полн. собр. соч. М.; Л., 1937. Т. 13. С. 280.

⁹ Сервантес Сааведра М. де. Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский. Т. 2. С. 594.

¹⁰ Там же. С. 596.

¹¹ Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч.: В 30 т. Л., 1982. Т. 24. С. 160.